

Андрей Александрович Коряковцев,
канд. филос. наук, доцент кафедры философии, социологии и
культурологии Уральского государственного педагогического университета,
г. Екатеринбург

Сергей Валентинович Вискунов,
историк, философ

Бюрократия и религия¹

«Социалисты начала ХХ в. слишком поздно
обнаружили приход олигархии.

Когда же они спохватились, олигархия была уже
налицо — как факт, запечатленный кровью,
как жестокая, кошмарная действительность».

Д. Лондон, «Железная пята».

Прежде, чем показать, как связаны бюрократия и религия, бюрократическое сознание и сознание религиозное, мы должны исследовать, как вообще возникла их связь в современном глобализированном мире.

К середине ХХ в. передовые страны мира вступают в стадию высокотехнологичной индустрии. Социальные реформы, вызванные рабочим движением и войнами первой половины столетия, создают условия для невиданного ранее увеличения потребительских возможностей самых широких масс — «общество потребления». Социально-психологической опорой этого порядка являются интересы и потребности платежеспособного потребителя, составляющего так называемый «средний класс».

1 Коряковцев А., Вискунов С. Бюрократия и религия в эпоху глобализации. Свободная мысль. № 2. 2010. С. 69-82. Эта статья была написана нами в 2004 году по материалам наших общих исследований 90-х годов. Несколько лет мы ее дополняли, а в 2010 году ее удалось опубликовать в журнале «Свободная мысль», который в то время выходил под редакцией В. Иноземцева. Однако сейчас в журнальном интернет-архиве она отсутствует. Потом она была помещена на сайт ИГСО и на наш общий сайт. Оба эти сайта умерли. Таким образом, это – третья попытка сделать данную статью доступной читателю интернет-ресурсов.

Основой экономики здесь остается рыночный сектор, чья производительность растет за счет систематического внедрения высоких технологий. Но рынок стал управляемым экономическими, политическими и правовыми рычагами, стал частью *механизма сознательного опосредования социальных связей*, где бюрократическая корпорация является главным субъектом управления. На основе этого нового социального механизма, и, следовательно, на основе растущей роли чиновничества, сложилась система *перераспределения общественного продукта*, включающая в себя разного рода формы *неэкономической оплаты* за труд в виде социальных программ и «бесплатных» социальных услуг. Причиной роста жизненного уровня здесь стало именно это ограничение, *незавершенное отрицание* частной собственности и рынка в форме государственного управления.

Рынок и бюрократизм, буржуазия и чиновники здесь дополняют друг друга, друг в друге нуждаются. Отношения между ними лучше всего описываются категорией любви-ненависти. Буржуазия воспроизводит для бюрократии объект управления — рынок с его богатством и кризисами, бюрократия создает этому рынку оптимальные условия развития и условия выхода из кризисов. *И пока продукт труда принимает общественную форму товара, позитивный потенциал этого социального порядка не будет исчерпан.*

Эту социальную систему, которая до сих пор во всем мире только становится, можно назвать, использовав классическое понятие К. Маркса, «системным бонапартизмом», поскольку она основана на скрытом или явном господстве бюрократии, балансирующей над противоречиями буржуазного гражданского общества и из него же вырастающей. Фабрично-заводской пролетариат нанес капитализму серьезный удар в ходе мирового революционного цикла первой половины XX в., но не смог воспользоваться плодами этого в условиях промышленного производства и доминирующих форм разделения труда. За него это сделала бюрократия. Эманципация рабочего класса обернулась возвышением чиновников, постепенно, но неуклонно консолидирующихся в самостоятельный класс управленцев и стремящихся

превратить все остальное общество в объект управления, в административно зависимых работников.²

Таким образом, подобно тому, как буржуазно-просветительское «Царство Разума» воплотилось на практике в виде господства капитала, так и чаемая классиками марксизма диктатура пролетариата реализовалась в реальности в виде диктатуры бюрократии, действующей от имени самых широких масс, в том числе и фабрично-заводского пролетариата, *принявшего чиновниче-буржуазные ценности за свои собственные*. Пролетариата, интегрированного в чиновниче-буржуазную экономическую и политическую систему как часть «среднего класса», пролетариата, отказавшегося от борьбы за свои *конечные цели* — те, которые были сформулированы К. Марксом и Ф. Энгельсом в «Манифесте»: освобождение от господства частной собственности и создание бесклассового общества на основе собственности общественной. И если судить с точки зрения этих конечных целей, то с необходимостью придется констатировать, что освободительное движение *промышленного рабочего класса* (политический коммунизм) в первой половине XX в. потерпело поражение. Массовому социально-психологическому типу промышленной эпохи реализация этих конечных целей оказалась не нужна. Вынудив власть пойти на реформы, его представители удовлетворились компромиссом с ней. Этот компромисс и воплотился в данном общественном устройстве. Но суть дела как раз в том, что все это — лишь половина истины.

Так же верным будет и то, что вслед за всемирно-историческим поражением коммунистического пролетариата закономерно последовало и поражение либеральной модели буржуазного строя. Если классики марксизма в чем-то и оказались правы, так именно в предсказании этого. Капитализм был вынужден измениться: «социализироваться», а на деле — бюрократизироваться, поступиться рыночной свободой, признать относительность рыночных принципов и необходимость внешнего управления рынком.

² Вискунов С., Коряковцев А. Месяц, который никак не может кончиться. Исторический смысл и уроки «Великого Октября». — Урал. — № 2 — 2008. — С. 212-235.

Обычно о господстве бюрократии пишут только по поводу так называемого «тоталитаризма», прежде всего советского. На самом деле советское общественное устройство — лишь частный случай бюрократической власти, *социал-бюрократизм*, использующий для самообоснования идеологическую форму, доставшуюся от антибуржуазной Октябрьской революции. Повсюду, где под напором организованного промышленного пролетариата распадается буржуазное гражданское общество и слабнет власть буржуазии, на арену мировой истории выходит новый класс со своей исторической миссией и со своим четко осознанным интересом — бюрократическая корпорация. В новейшей литературе ее обычно называют «технократической элитой» или «техноструктурой». Мы живем в эпоху, когда прежний классовый конфликт между буржуазией и пролетариатом уходит на второй план, а на его смену приходит новый — конфликт между бюрократией и поглощенной ею буржуазией, с одной стороны, а с другой — гражданским обществом как объектом управления. В этом — основная коллизия нашего времени. Однако пока это новое социальное противоречие рождает не динамику, а устойчивость общественной системы за счет внутренних противоречий противостоящих сторон: противоборство между наемным трудом и работодателями разрывает гражданское общество, а соперничество между различными ведомствами и национальными группировками — бюрократическую корпорацию. Это объясняет, почему общественное развитие здесь имеет вид колебаний политico-идеологического маятника влево-вправо без всякого намека на разрушение господствующих форм собственности и государственности.

Все эти новые социальные коллизии проявляют себя в странах мира, переживающих переход к мало понятному пока «постиндустриальному» или «информационному» способу производства. Сопровождается этот переход вымыванием из активной политической жизни и превращением в объект управления не только рабочего класса, но и мелкой и средней буржуазии, иначе говоря, буржуазного гражданского общества в целом. Публичная политика

повсеместно формализуется и превращается, по слову Ги Дебора, в *спектакль*. Так проявляется бюрократизация политической сферы и поглощение государством гражданского общества. Политическая сфера, как писал Маркс, обобществленная буржуазией в эпоху демократических революций в форме всеобщего избирательного права, ныне приватизируется бюрократией в форме «управляемой демократии». На Западе такое положение дел утвердилось уже в середине XX века, а в страны Восточной Европы эта система управления в ее новейшей форме импортируется во второй половине 80-х и окончательно укореняется к середине 90-х.

Буржуазия и промышленный рабочий класс этому процессу сопротивляются, апеллируя то к либеральным, то к социал-демократическим ценностям. Но ничего принципиально нового они предложить уже не могут. Творческий, интеллектуальный потенциал их иссяк и не идет ни в какое сравнение с тем интеллектуальным и творческим взрывом, который сопровождал их восходящее развитие в Новое время. Ныне они переживают возраст старческого истощения. Только ослаблением их социальных позиций можно объяснить тот факт, что, если на своей восходящей стадии капитализм являлся светской, рациональной формой социального бытия и ориентировался на науку в сфере производства и образования, на тотальную секуляризацию общественного сознания, то ныне он все чаще ищет свое обоснование в религии и иррациональных учениях. В науке буржуазное гражданское общество теперь ничего нового предложить не в состоянии. Оно лишь повторяет устами Хайека — А. Смита, устами Поппера — позитivistские постулаты, устами Фукуямы — утопии о «конце истории». Неспособность выразить новое содержание проявилось в злоупотреблении приставки «пост-»: постмодернизм, постмарксизм, построк... Эти повторы сменили интеллектуальные новации и являются симптомом глубокого идейного кризиса.

Подобное интеллектуальное бессилие — выражение слабости экономической. Во время кризисов, имевших место в XX в., а еще больше — в условиях нынешнего экономического спада, закономерно обнаружилось, что в

сильной, властной бюрократии нуждается сама буржуазия. Что в одиночку она не способна справится не только с технологическим обновлением производства, но и с циклическими кризисами капитализма, с результатами ее собственного господства. Только государство спасает ныне финансовый и производственный капитал от банкротств. «Железная пята олигархии» оказалась ахиллесовой пятой либеральной буржуазии. И это происходит в «самой-самой либеральной» Америке, и допускал это сам президент Буш и его администрация, представлявшиеся оплотом либерализма как идеологии и практики буржуазного общества. При администрации Б. Обамы эти тенденции только усилились. Теперь либерализм, даже с приставкой нео-, как последовательная социальная стратегия, окончательно уходит в прошлое. Либеральная политическая система бюрократией либо просто отбрасывается, либо формализуется. Либерализм, обязывающий соблюдать демократические правила политических игр, ей неудобен. Он сохраняется как идеология, расцвеченная мифами о героическом прошлом капитализма, и становится на практике лишь эффективным идеологическим брэндом нового тоталитаризма.

Преимущество бюрократии перед буржуазией в том, что она может воспроизводить свое господство, не только конвертируя власть в деньги, но и деньги во власть, например, национализируя промышленные отрасли и банки. А что может противопоставить средняя и мелкая буржуазия наступающей бюрократии? Апеллировать к «вечным ценностям» — к свободе, праву, частной собственности, словом, к тому, что имеет смысл только в контексте буржуазного гражданского общества? Но какой в этом толк, если последнее, пережив эпоху постмодернизма и идеологической сублимации³, повсюду в мире идейно дезориентировано и организационно разобщено? Бюрократическая олигархия давно поглотила свободное гражданское общество со всеми его

3 Идеологическая сублимация происходит, когда действительный объект социальной критики замещается на другой, иллюзорный, но более приемлемый в представлении данных общественных сил. Социальный протест облекается в идейную форму, противоположную его протестному содержанию и воспроизводящую прежние репрессивные идеологемы и мифологемы. Идеологическая сублимация, например, в СССР проявлялась в том, что диссидентское движение, будучи освободительным по своей общественно-политической деятельности, использовало идейные формы, которые в предыдущую эпоху являлись выражением классового господства. Примером идеологической сублимации на Западе может служить отрицание гуманизма Л. Альтюссером.

самостоятельными партиями и движениями. Все они уже сейчас на Западе — винтики единой бюрократической системы, как когда-то в Советской России.

Однако пока еще Запад сохраняет имидж защитника либерализма. Противостоящая ныне ему национал-бюрократия России и ближневосточных стран, социал-бюрократия Китая и Латинской Америки выглядят как правопреемники антибуржуазной позиции рабочего класса. Но социальная природа современного антикапиталистического, «антиамериканского» мира по преимуществу бюрократична. Она лишь скрывается под масками либо левой, либо религиозно-традиционистской идеологии. Не случайна дружба «левых радикалов», антиглобалистов Чавеса и Ортеги с иранским исламистом Ахмадинежадом. Не случаен стратегический союз «коммунистического» Китая и исламского Пакистана против либеральной Индии. Не случайно и то, что нынешняя, традиционистская Россия имеет в своих союзниках, как правило, «левые» и религиозно-традиционистские режимы. Всех их объединяет главный субъект власти — государственная бюрократия и понимание различия своих интересов и интересов гражданского общества.

Но, поскольку действия Запада во внутренней и внешней политике в последние годы разоблачают его либерализм как раздражитель внешнеполитических соперников, точнее было бы сказать, что за идеологической внешностью здесь скрывается конфликт между мировыми корпорациями бюрократии. Продолжение соперничества за мировое господство потребовало от всех сторон экономического, политического и идеологического обновления. В конце XX в. западная корпорация вырвалась вперед, но вряд ли окончательно.

Становлением бюрократического «общества потребления», если не абсолютно, то относительно предыдущего периода, преодолевается стихийность рыночного развития и свойственные ему противоречия. Это новое общество много и, отчасти, верно ругают, и «справа» и «слева», попы и радикалы всевозможных мастей, но они не учитывают, что именно массовый гедонизм, а не прихоть внезапно образумившихся политиков, спасает мир от

третьей мировой войны. Рост потребительского сознания во второй половине XX в., следует считать если не основной, то одной из причин гуманизации общественной жизни передовых стран мира. А то, что таковая имеет место, говорит простой сравнительный анализ статистики военных и социальных конфликтов и их жертв в до- и послевоенную эпоху.

Куда более опасен религиозный и какой-либо другой «духовный» фанатик, ставящий свою веру превыше человеческой жизни. По тем же самым причинам, по каким И. Бродскому «ворюга» был «милей, чем кровопийца», «бездуховный» потребитель-гедонист, несмотря на всю свою ограниченность, представляется носителем более гуманного начала, чем запутавшийся в садомазохистских комплексах его «духовный» предок, идеализируемый традиционалистами и ригористически настроенными лево-радикалами. Дайте «ворюге» и потребителю нахапать все, что им нужно, и они не будут иметь к вам никаких претензий, по крайней мере, не полезут вам в душу. Уж лучше добровольный Макдональдс, чем принудительная молитва... Или обязательное изучение классиков...

Но на смену старым приходят новые социальные проблемы. Многие из них обнаружились уже в начале формирования этого общества.

Новый субъект социального господства — бюрократия — сам способствует воспроизводству своего иного — гражданского общества как объекта управления вместе со всеми его внутренними противоречиями. Система социального перераспределения, необходимая для обоснования нового устройства, оживляется лишь регулярной политической и экономической борьбой независимых профсоюзов и рабочих партий, то есть при условии существования в гражданском обществе сильных антибюрократических и антибуржуазных сил (хотя и не выходящих за рамки общей потребительской парадигмы).

К тому же, вне распределительной системы остаются самые неорганизованные массы трудового населения — гастербайтеры. Для них сохраняются все атрибуты «дикой» капиталистической эксплуатации —

тяжелый неквалифицированный труд, ничтожная (по меркам развитой страны) оплата и полное отсутствие социальных гарантий. К ним можно причислить и группы социальных изгоев (бродяги, безработные) из числа представителей коренной нации.

Кроме того, материальное благополучие и возникновение у большинства населения времени, свободного от принудительного труда, привели к тому, что ощущение бессмыслицы жизни (еще в XIX столетии остававшееся привилегией «бесяющих с жиру» богачей и творческой богемы) приобрело статус массового бедствия.

В условиях бюрократизирующегося капитализма НТР обернулась гонкой вооружений. Конкуренция военно-промышленных комплексов стала главным двигателем НТР, а ядерный паритет противостоящих блоков — «гарантом мира». Современное общество — это общество благосостояния и *войностояния* (Г. Маркузе) одновременно.

Протестные движения и идеи, возникшие в ответ на все эти «вызовы» в середине XX в., оказались не в состоянии их разрешить. Они смогли только обновить массовую культуру.⁴

Слабость левых сказалась и в том, что они эффективны только в деле критики капитализма, анализа его противоречий и разоблачения различных форм идеологического обмана. Они так и не смогли по-новому рационально обосновать перспективу гуманного некапиталистического общества. В качестве позитивной программы ими повторяются только старые, опровергнутые жизнью схемы (троцкизм, официальный марксизм соц- и компартий). Они пытаются приписать новым протестным субкультурам свойства, которые приписывал Маркс промышленному пролетариату. Многие из них в своей практике воспроизводили авторитарно-иерархические отношения.

Дискредитации левого движения способствовало так же и то, что распад СССР большинством современников был осознан как «крах коммунизма» на

⁴ Коряковцев А. Что такое «молодежная субкультура»? — Урал — № 9 — 2006 — С. 97-98.

фоне подъема «общества потребления», упакованного в неолиберальную и неоконсервативную оболочку.

Паразитируя на всех этих слабостях левых бюрократизирующийся капитализм в 70 – 80-х гг. вышел из кризиса и перешел в идейное наступление в форме неоконсервативной и неолиберальной «контрреформации». Западные элиты сделали все, чтобы устранить левых с поля большой политики и поля идей. Со второй половины 80-х в странах Восточной Европы энергию социального протеста спецслужбы направляют в нужном им направлении. *В результате, как правило, итог протеста противоречит интересам и чаяниям самих же протестующих.*

При этом социальные и философские учения, традиционно увязываемые с «левым дискурсом» (марксизм, атеизм и материализм) «интеллектуальной общественностью» не «снимаются» ни по гегелевски, ни по фейербаховски, а просто отбрасываются согласно новой идейной конъюнктуре.

В итоге потребительство в виде непосредственного переживания жизненных ситуаций без лишних «метафизических» и философских «осложнений» становится господствующим стратегией жизненного поведения. Типичный образчик такого подхода к жизни — Мерсо, главный герой романа А. Камю «Посторонний». В обществе культивируется прагматизм, из духовной культуры вымывается теоретическая рефлексия. Даже интеллектуалы ориентируются, прежде всего, не на нее, а на визуально-чувственную информацию. Ослабевают интерес к истине самой по себе и связь науки с социальной и производственной практикой. Агрессивное вторжение «вненаучных», прежде всего, административных, факторов в производство нового знания нарушает его автономию, что в конечном итоге тормозит научно-технический прогресс.

Таким образом, *растущий ввысь храм инструментального разума отбрасывает все более длинную тень неразумия*. Скепсис Руссо, Торо, Толстого и Достоевского относительно прелестей прогресса «техногенной цивилизации» подтверждается, тиражируется и нарастает пропорционально его победному

шествию. Иррационализм общественного развития, социальное отчуждение и другие социальные предпосылки превращенных форм сознания и, в частности, религии, в XX в. воспроизвелись. Перефразируя Ленина, можно сказать, что мир все еще страдает не от избытка разума, а от его недостатка.

В то же время господство потребительского поведения и потребительских ценностей дискредитировало прежнюю культуру, основанную на абстрактных, надындивидуальных «сверхценностях» репрессивной религиозной или светской трудовой этики (как это выражено, например, в христианстве и сталинизме). Это углубило и расширило секуляризацию и индивидуализацию общественного сознания, зародившихся в начале Нового времени. В результате культурной революции 60-х, затронувшей все развитые страны, включая и СССР, в общественном сознании на смену библейско-кантовско-сталинскому принципу «надо» приходит эпикурейско-фейербаховский принцип «хочу». Веками навязываемое обществу господствующими религиями и идеологиями представление о «греховности земных радостей» сменяется массовым стремлением к посюсторонней счастливой жизни. Повседневность потребовала от религии человечности, а не мистики, социальности, а не эскапизма, чувственности, а не спиритуализма. В эпоху, наступившую после культурной революции 60-х, реабилитировавшей свободную чувственность, все религиозные учения и движения, если они хотели сохранить влияние и выжить, должны были адаптироваться к новым социально-психологическим и социально-культурным реалиям, модернизируясь организационно и содержательно. Антропологическая составляющая христианства, описанная в свое время Л. Фейербахом, по необходимости теперь должна была выдвинуться вперед в ущерб его мистики. Особенно эффектно и плодотворно это произошло в СССР: в середине XX в. антропологически истолкованная религия становится частью протестной идеологии, что было предвосхищено М. Булгаковым в романе о Мастере и Маргарите.⁵

5 А. А. Коряковцев, К. Н. Любутин. Антропология религиозного чуда. Теория религиозного чуда по страницам произведениям Л. Фейербаха, К. Маркса и М. Булгакова // Известия УрГУ. Серия 3: Общественные науки, № 1/2, 2009. С. 165-177.

Тем самым получил свое дальнейшее развитие зафиксированный еще Фейербахом⁶ раскол христианства, с одной стороны, на религию рационалистическую и прагматичную, приспособливающуюся к общественным условиям, к «профанному миру», и только лицемерно декларирующую верность «сакральным» «сверхценностям». А с другой — на религию, остающуюся верной последним и выдвигающей на первый план мистическое содержание. Сперва этот раскол имел место вследствие нежелания части клерикальных кругов и их паствы идти на поводу потребительской массы, поменявшей свое христианское (или какое-либо другое) первородство на чечевичную похлебку *fast food`a*. Оставшиеся ортодоксальными религиозные движения обособились и получили кличку «традиционистских» и «фундаменталистских».

В современных условиях этот раскол вышел за рамки богословских штудий и воплотился в массовых движениях. Случилось это потому, что в условиях «общества потребления», кризиса левых движений и роста влияния бюрократии сформировался «социальный заказ» на религиозный традиционализм и фундаментализм как его крайнюю форму. Распространение их отразило в превратной форме тот факт, что полного примирения с существующей неоконсервативной и ура-либеральной реальностью в обществе не произошло. «Религиозное Возрождение» содержит критику либерального «общества потребления», но при этом направляет протест в нужном для бюрократии направлении. Это критика с позиции общества традиционного, с его общинностью, четко очерченными социальными ролями, господствующими политико-административными связями и вертикалью власти. Она обладает как антибуржуазной, антиколониалистской, так и антикоммунистической составляющей и привлекает традиционистски воспитанные массы своей «духовностью». Такая критика годится и для того, чтобы под ее флагом

6 Л. Фейербах. Сущность христианства // Собр. соч. в 2 т. Т. 2. М.: Наука, 1995. С. 5-320.

взглазить борьбу против западного неоколониализма, и при этом не возбуждает излишних коммунистических, социально-протестных, «иллюзий».

Первой ласточкой антипотребительского фундаментализма стала исламская революция в Иране. Вестернизация не принесла никакой реальной свободы народу этой страны. Она обернулась для него утратой политической самостоятельности и национальной самобытности, швырнув взамен только объедки современной западной культуры. Исламизм в Иране стал единственным источником позитивных смыслов, способных мобилизовать традиционалистское население на борьбу с неоколониализмом. Схожая ситуация складывается сейчас и в Ираке.

Но во время «холодной войны» религиозный фундаментализм и традиционализм становятся идейным оружием неоконсервативной и неолиберальной «контрреформации» против левых и частью антисоветской пропаганды. А в ходе уже настоящей войны в Афганистане американцы прибегли к военной помощи фундаменталистов для вытеснения советского влияния. Широкое использование западными правыми фундаментализма как своего боевого авангарда — в прямом смысле этого слова, к концу XX в. привело к тому, что оптимистическая и гуманистическая составляющая западной культуры практически сходит на нет. На поверхности остаются только разнообразные продукты ее разложения. Это объясняет, почему иммигранты из развивающихся стран уже не перевариваются Западом. Прежде всего, именно в этом, а не в их возрастающей численности — главная причина успеха нынешней фундаменталистской агрессии (в исламском и христианском облике). Перефразируя Энгельса, можно сказать, что *Магомет и Христос побеждают, потому что Маркс и Ленин потерпели поражение*. Антиамериканские (точнее, антибуржуазные) и антипотребительские настроения в условиях кризиса левых вполне закономерно обличились в религиозные одеяжды.

Потребительский гедонизм с его стремлением к сиюминутным, эгоистическим удовольствиям, идеология социал-дарвинизма с его ницшеанским лозунгом «падающего-толкни», не могут удовлетворить простой,

но коренной человеческой потребности в осмысленной жизни. Поэтому никакое техническое и военное превосходство Запада не может сломить готового на самопожертвование фанатика, преисполненного самой высокой «духовностью». К тому же постоянное совершенствование и удешевление оружия сводит в конечном итоге это превосходство к нулю.

В итоге темная, полуграмотная, «доиндустриальная» человеческая масса, борющаяся против «постиндустриальной цивилизации», активно включается в нее благодаря самой борьбе. Это воспроизводит на новом витке ситуацию начала XX в., породившую тоталитарные «измы». Новые, уже религиозные, авторитаризм и тоталитаризм — подчеркнем это — имеют так же «низовой» характер. Они так же представляют собой формы эмансилирующегося «мира труда». И так же, как в Советской России, ничего за собой не влекут, кроме господства бюрократии.

Бюрократию и религиозный традиционализм объединяют не только общность интересов, но и мифологический тип сознания. Не случайно становление бюрократического общества сопровождается возникновением массового интереса к мифу. Иррационалистическая линия в европейской философии, зародившаяся в учениях Шопенгауэра и Ницше, именно в этих общественных условиях обретает своего массового реципиента. В XX в. Толкиен и Лосев, с их апологией и эстетизацией мифа, завершили смыкание тенденций, шедших в среде интеллектуальной элиты и массового сознания. Они для бюрократии сделали то же, что для буржуазии сделали Руссо и Вольтер — выразили идеальные и психологические предпосылки. Но если буржуазия расколдовывала мир, бюрократия его заколдовывает. Романтика буржуазии — Просветительство, Разум и Общественное Преобразование, пафос бюрократии — Миф как монополизированное, эзотерическое знание, Вера как подчинение ему Разума, и Традиция, освещенная Авторитетом.

Бюрократ так же, как и верующий, живет в виртуальном мире — в мире чудес своего формализма. Он уверен, что жизненные формы только тогда преисполнены совершенства, когда соответствуют исходному образцу —

инструкции, которой творить мир *по образу и подобию своему*. Этот идеализм, представленный в бюрократической практике в качестве *формализма*, означает, что, подобно платоновско-бблейско-лосевскому богу, бюрократ стремится копировать исходные, идеальные образцы, а «несовершенному» чувственному миру остается только им подчиняться. Самостоятельное развитие мира есть разрушение исходного совершенного идеала, и потому преступно. *Идеализм* этот, как *формализм* и *схематизм*, есть *бюрократическое Чудо, мистицизм бюрократии*. Он противостоит реальной практической деятельности людей, ее реальной продуктивности, и стремится всецело заменить ее.

Поэтому идеалистическая формула «сознание определяет бытие», звучащая привлекательно для творческого человека как выражение интеллектуальной свободы, в контексте бюрократического господства обнаруживает репрессивный потенциал.

Формальный разум бюрократии противостоит практическому разуму гражданского общества. Исторически это противостояние выразилось в советскую эпоху, когда общественные отношения проявили себя как воплощенный мир бюрократических чудес: *покорность природы и общества воле вышестоящих инстанций, трудолюбие масс и безукоризненный героизм одиночек, ожидание перемен («светлого будущего»), столь же счастливых, как и неизбежных, ради которых можно и должно пренебречь счастьем в посюстороннем настоящем*, — словом, в виде секуляризированной христианской эсхатологии и мифологии. Мифологическое сознание здесь только выразилось в другой форме. Отличие христианской эсхатологии от социал-бюрократической лишь в том, что для первой «светлое будущее» — это конец света и Страшный суд, а для второй — *всеобщее счастье*. В обоих случаях самопожертвование во имя абстрактного «светлого завтра» возводится в абсолют по принципам «движение — все, конечная цель — ничто» Э. Бернштейна и «цель оправдывает средства» И. Лойолы. Так секуляризованный вариант христианского «социального бессознательного» низов использовался «идеологическим сознательным» верхов. Так рационализм веберовской

бюрократии беспощадно разоблачался в повседневности общества, где бюрократия стала господствующим классом.

И кстати: христиане, критикующие коммунистическую идею за «утопизм», попытались бы объяснить, чем она утопичней христианской эсхатологии? Во второе пришествие Христа верят, а в возможность торжества социальной справедливости на Земле не верят. От антикоммунистов следовало бы ожидать более последовательного выражения позитивистского и скептического духа, нежели предпочтения одной утопии в ущерб другой.

Как для Библии всякий *труд* есть наказание и свидетельство несовершенства человеческого мира, так и для бюрократа человеческая практика не совершенна, а потому подлежит контролю и предопределению. И чем она самостоятельней, искусней, плодотворней, иначе говоря, чем она *посюсторонней*, *человечней* и не сводимей к каким бы то ни было инструкциям, тем более она вызывает у него раздражение. Особенно плохо понимает чиновник тот факт, что живой творческий процесс подчиняется *внутренней* (обусловливаемой самим предметом творчества и логикой его освоения), а не *внешней* дисциплине, и протекает без всякой связи с так называемым «рабочим графиком». Это *отчужденный труд* продолжается на протяжении предусмотренных законом 8 часов, после которых «массовый индивид» пассивно созерцает себя в зеркале своих вожделений. А продуктивная деятельность, являющаяся *потребностью*, только тогда и начинается, когда заканчиваются эти трудно переносимые 8 часов, и способна длиться еще 16, оставшиеся в сутках. *Рабочий день* лишь укорачивает плодотворную жизнедеятельность. Советское государство, осудившее Бродского как «тунеядца», разоблачило не только свое собственное отношение к творческой деятельности, но и действительное отношение к ней со стороны бюрократии как таковой.

Конечно, и бюрократ тоже может много «работать». Но его деятельность протекает внутри *формализма*, и потому подобна деятельности колдуна или святого: практически он ничего не создает, а лишь *транслирует* нечто из сферы

«бюрократической рациональности» в противостоящую ей, признаваемой «иррациональной» и «профанной», сферу чувственно-практическую.

Тем более это ему удается сделать, если в его руках находятся властные рычаги. Лишь власть, усиленная репрессивным аппаратом, способна сообщить мистифицированной бюрократической деятельности *посюсторонность*, необходимую хотя бы для обеспечения ей здимой значимости для общества. Но поскольку основания этой власти для бюрократии мистичны, атрибутом ее является *безответственность* бюрократии. Ибо для того, чтобы власть была *ответственна*, должна быть реальной социальная сила, способная спрашивать с нее в случае необходимости. Иначе говоря, должны быть реальны *посюсторонние*, социальные предпосылки власти. Но поскольку «всякая власть — от бога», постольку бюрократия ответственна лишь перед богом, то есть ни перед кем в реальном, социальном мире. Маркс прямо называет «дух бюрократии» «духом теологии», поскольку бюрократия есть «сплетение практических иллюзий».⁷ Одна из них состоит в том, что «дух бюрократии» желает, чтобы его *предпосылки* составляли предмет теологии, *религиозный* предмет, а не предмет таких «низменных» позитивных наук, как социология, история и политэкономия. А уж тем более не предмет философии как рационально-критического мировоззрения. И чем больше бюрократия желает избегнуть посюсторонней ответственности, тем более она нуждается в *религиозно-мифологических обоснованиях своей власти*.

Как посюсторонность религиозных чудес требует веры, подчиняющей знание и чувственность, так и посюсторонность чудес бюрократических требует *дисциплины* как подчинения предписанному порядку. Акт *грехопадения* здесь означает, как и в Библии, неверие в исходящую сверху волю, неверие как признак осознания себя самостоятельным субъектом, личностью. Акт познания (и самопознания) со стороны нижестоящих чинов для бюрократа так же греховен, как и для библейского бога, поскольку он угрожает бюрократической

⁷ Маркс. К. К критике гегелевской философии права. К. Маркс, Ф. Энгельс. Собр. соч. — Т. 1. — С. 271.

(божественной) монополии на знание, и означает познание человеком *своих собственных возможностей*, реализуемых в переустройстве предписанного быть совершенным окружающего мира.

Бюрократия, таким образом, — это *клир* государства, точно так же, как клир, представленный в *иерархии* должностей и *формализме* ритуалов, воплощает *бюрократизм* церкви.

Как бюрократия противостоит корпорациям гражданского общества, так и клир противостоит корпорациям *неформальной*, внецерковной религиозности — сектам и ересям. А так же остальным религиям, признаваемыми в данном обществе «нетрадиционными» и которые на самом деле выражают *духовную самодеятельность* граждан. В качестве главной тоталитарной секты клир господствующей церкви борется со всеми конкурентами на рынке идей, чтобы оставаться единственным посредником между индивидом и богом.

Стихия общественного развития, равно для бюрократии и клира, *материалистична*, поскольку противостоит их *идеалистическому формализму*, *тоталитарна*, поскольку противоречит свободе их *идеализма*, и *деструктивна*, поскольку гражданское общество своей практической деятельностью разоблачает их мир совершенства — все тот же мир *формализма*. Не удивительно поэтому, что бюрократия порой может уверовать в свою духовность, в свой демократизм и в свою созидательность.

И по мере того, как *религия*, получившая поддержку государства, фактически обретает статус государственной *идеологии*, так и *государственная идеология* уподобляется *религии*, взыскиющей веры, — веры в чудеса бюрократического формализма. Чем в большей мере они стремятся отождествиться, тем больше они претендуют на то, чтобы утвердить в головах людей свою посюстороннюю всеобщность. Объект бюрократического управления оказывается тождественным храмовой пастве. Это превращает критику религии и атеизм в то, чем они были во времена Дидро и Вольтера, Фейербаха и Маркса — в прямое или косвенное выражение *социальной* и *политической* оппозиции. Они вновь обретают свой предмет и перестают быть

критикой идеологического конкурента, как это было в советское время. Теперь, полагая религию одной из превращенных форм сознания отчужденного общества, они становятся частью критики превращенных форм вообще и критикой условий, порождающих потребность в этом превращении.

Так в XXI в. восстанавливается идеиное содержание, понятия и проблематика тех конфликтов, которые будоражили общественное сознание в прошлом. Так нынешнее «религиозное Возрождение» на деле оборачивается культурным регрессом, отбрасывающим общество назад.

По этой причине мы вправе повторить вслед за Марксом: «Даже отрицание нашей политической современности обретается уже в исторической кладовой современных народов как покрытое пылью прошлое. Когда я отвергаю напудренные косы, мне все еще приходится иметь дело с ненапудренными косами»...⁸ А далее мы можем Маркса перефразировать (имея в виду идеологическое самосознание нашего общества): «Отвергая российские порядки 2009 г., я, по западноевропейскому летосчислению нахожусь едва ли даже в 30-х гг. (то есть в эпоху подъема тоталитарных режимов), и уж никак не в фокусе современности». «Религиозное Возрождение» как реакция на репрессивный атеизм «совка» — это все еще «совок», свидетельство отсутствия собственной основы духовного развития. Так и вынужденно борясь ныне с клерикализмом, мы не делаем ни шага вперед. И это печально для науки: противостояние архаичным идеологиям и религиям только воспроизводит старое знание, но не возвращает новое.

В современных условиях победа учений, проповедующих аскезу и господство над индивидуальных «сверхценостей» означала бы, среди прочего, и экономический коллапс. Ведь не только способность покупать, свойственная среднему классу как основе нового порядка, но и его способность разнообразно хотеть играет здесь существенную роль. Это подразумевает социальное поведение, не скованное какими бы то ни было требованиями аскезы, а мотивированное гедонистическими соображениями.

⁸ К. Маркс. К критике гегелевской философии права. Введение // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. Т. 1. С. 415-416.

Вот почему ныне «духовные» и «высокоморальные» традиционализм и фундаментализм — это угроза не только культурной идентичности Запада, но и его экономическому благополучию. (Это касается и современной России.) Борьба против них обусловлена не только культурными и политическими, но и экономическими потребностями «общества потребления». Происходит она в разнообразных формах: в виде правовой нейтрализации, и в виде то явной, то скрытой пропаганды *новой религиозности* как массового двоемыслия.

Часто о двоемыслии пишут только в связи с «тоталитаризмом», при этом ссылаясь на роман Дж. Оруэлла «1984». Однако, двойная мораль «тоталитарного» режима — это лишь частное проявление морального состояния любого классового общества. В доказательство тому можно привести хотя бы древнегреческий полис, подлинный моральный облик которого был разоблачен Сократом.

Прежняя религиозность выражалась в том, что верующие ставили свою конфессию выше других, которые считались, по меньшей мере, заблуждениями. Это выражало сердечное, неравнодушное, трепетное, ревностное, настоящее, а не формальное отношение к своей религии. А *новая религиозность* весьма умеренна, терпима и формальна в своих проявлениях. Она всецело подчинена светскому праву, светской эстетике, светской морали и лишь декларирует верность ценностям, выходящим за рамки мирских, потребительских интересов.

Хотя крест и распятие в современном обществе стали модными, в нем никогда не войдут в моду власяница и терновый венок. Точно так же, как современное духовенство никогда больше не станет ходить в рубищах и питаться акридами (ну, быть может, только в лице редчайших энтузиастов). Их вера, равно как и вера их паствы, — это отнюдь не старая религиозная вера, за которую идут на костер или в ГУЛАГ, либо, подобно богослову III в. Оригену, отрезают себе гениталии. Она лишена подобной мировоззренческой целостности. Современный обыватель, да и представитель клира, следует всем поведенческим клише раскрепощенной чувственности. Его религиозность

является номинально конфессиональной, часто постмодернистски совмещающей элементы самых разнообразных религий и светских воззрений. Как об этом точно выразился в одной из своих песен Б. Гребенщиков: «По Голгофе ходит Будда и кричит: “аллах акбар!”». И эта ее эклектичность разоблачает в ней порождение современной глобализации.

По существу эта *новая религиозность* — в той или иной степени гламурная в своих вульгарных проявлениях — даже не эрац религии, даже не ее извращенная форма. Она — скорее, товар в потребительском обществе. Она оберегает обывателя от крайностей потребительства и выражает в религиозных терминах смутное осознание им того эмпирического факта, что его жизнь зависит от внешних по отношению к его воле условий. Она всецело — от мира профанного сего, и сама она является выражением профанности. Ее содержание определяется модой, миром. С изменением моды, мира, меняется и это содержание. Религия здесь служит не столько уходу от мира, сколько приспособлению к нему, к определенному общественному устройству, которое она освещает своим авторитетом. А мир этот есть общество, глобализирующееся в условиях господства бюрократии. Религия используется ею как *идеология*, как инструмент управления рядовым обывателем и как средство прикрытия будничной дряни, подобно тому, как в советском обществе эту дрянь прикрывали коммунистическими фразами.

Воспроизведение религиозно-мифологического сознания в данном обществе блестяще иллюстрирует современная реклама, которая становится уже не просто «двигателем торговли». Ее статус облагораживается включением в нее мировоззренческой функции. Это отмечал в свое время еще Р. Барт, иронизируя над «глубинной рекламой» стирального порошка.⁹ Она транслирует и задает именно религиозно-мифологическое отношение к действительности.

Во всех рекламных роликах идет речь о фантастическом, сверхъестественном мире, полном волшебных вещей. Таков, к примеру, шоколадный батончик: «Съел — и порядок!». Согласно другой рекламе

⁹ Р. Барт. Мифологии / М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1996. С. 125-127.

оказывается, что девушкам подлинной уверенности в себе можно достичь лишь использованием определенной марки прокладок Carefree, — и зачем психологи бьются над этим вопросом? Список подобных реклам может быть очень длинным. Содержание их сводится к одному. Все они воплощают очень древнее религиозно-мифологическое (в том числе и христианское) отношение к вещам и еде как носителям мистической силы, способной изменять естественный ход событий. Самому же человеку не надо ничего делать, кроме одного — покупать товары, именно *покупать*, только это разрешит все его проблемы. Здесь не столько сама по себе реклама, сколько вера в чудеса, в чудесные вещи становится *двигателем торговли*. Это — одна из причин, по которой современное «общество потребления» нуждается в религиозной вере. Благодаря тому, что религии свойственно некритическое, мистическое отношение к вещам, — в чем проявляется ее *вульгарный материализм*, — религиозное сознание участвует в формировании вещной зависимости. В данных общественных условиях это выражается в отношении к свойствам того или иного *товара*. Так религиозная вера становится политико-экономическим фактором, так религиозно-мифологическое сознание встраивается в механизм современной неолиберальной экономической системы как ее необходимый винтик. А, будучи исповеданием пассивного отношения к земному миру, оно является и существенным элементом бюрократического управления и манипуляции.

Эта противоречащая самой себе, чувственно-спиритуалистическая, карикатурная, дряблая религиозность, эта «смесь веры и неверия» (Фейербах), это религиозно-атеистическое сознание «общества потребления», представляет собой *истину духовной эволюции* последнего.

В нем же кроется и тайна пресловутого «религиозного Возрождения» в России, в котором воплотилась одна из тенденций развития гражданского общества позднесоветской эпохи. Религия в СССР составляла конкуренцию социал-бюрократической идеологии, она была в той или иной степени гонимой, и частично интерес ее совпадал с интересом гражданского общества,

стремящегося к освобождению. А мистицизм советской и постсоветской повседневности, усугубленный мрачными воспоминаниями о прошлых «тоталитарно-атеистических» репрессиях и об оппозиции церкви, сделал религиозную форму новой государственной идеологической лжи наиболее удобной для господствующих слоев.

Правда, не лишие вспомнить, чем закончились эти «тоталитарно-атеистические» репрессии: встречей Сталина с руководством РПЦ и последующим признанием Патриархом Сталина «богоизбранным вождем»¹⁰. Так что, можно ли говорить о подлинной гонимости православия в советской стране? С тех пор, скорее, православие постепенно превращалось в идеологический *ресурс* правящего класса. Оно сидело на скамейке запасных в команде идеологических игроков — вплоть до эпохи Перестройки.

А в 80-е гг. у российской элиты (так же, как и ранее у западной) появился громадный соблазн использовать религию как *новый идеологический брэнд* — в противовес коммунизму и либерализму. При чем, не просто в духе благодушной веротерпимости, но в виде прямой поддержки клерикализма, что противоречит принципам светского государства, каким, согласно 14 статье Конституции, является Россия.

Почему в постсоветской России возобладала именно эта тенденция? Во многом по причине политической и теоретической слабости гражданского общества. Буржуазно-либеральные деятели 90-х сделали то, что была не в состоянии совершить вся репрессивная система «совка» — они разрушили советское гражданское общество. Этим гайдары, новодворские и немцовы могут гордиться, именно в этом они «совок» переплюнули. (Правда, это им удалось сделать, лишь реализовав на практике социальные иллюзии самого гражданского общества поздней советской эпохи.) Да только вот нового гражданского общества, обладающего столь же высоким уровнем самосознания как позднесоветское, либералам создать не удалось. Идейно

10 О встрече И. В. Сталина с руководителями Русской православной церкви 4 сентября 1943 г. В: Атеистические чтения / М., Изд-во Атеистической литературы, 1990. №19. С. 52-55.

дезориентированное, организационно аморфное, оно упустило инициативу после Перестройки. В результате чего вместо «просвещенного капитализма» мы получили капитализм бюрократический и криминальный, идеяным прикрытием которого и стало «религиозное Возрождение».

Что ни либерализм, ни левая идеология правящему классу России равным образом неудобны, чувствовалось на протяжении всей эпохи реформ. Не случайно при Ельцине на высшем уровне обсуждалась идея введения монархии взамен дорогостоящих регулярных выборов. Но для этого необходимо в самых широких масштабах примитивизировать управляемый человеческий материал до уровня традиционного сознания, а это уже невозможно в силу объективных культурных, психологических и социально-экономических причин. Сознание рядового индивида на постсоветском пространстве удалось низвести в конце 80-х – начале 90-х гг. только до уровня средней дебильности, свойственной западному обществу. Но даже такое упрощение смертельно опасно в условиях противостояния Западу.

Тем не менее, теперь в России используются уже новые ритуальные приемы, новые идеологические правила карьерной игры. На фуршетах и презентациях ныне обязательно присутствует священнослужитель, заменивший идеологического работника советских времен. Референты, пишущие речи высшим чиновникам, цитируют не «бородатых классиков», а библейские заповеди (в суть которых они столь же мало вникают).

Сделав ставку на религию, российская элита расписалась в идеальной импотенции, не в силах найти, по крайней мере, наукообразную, замену отвергнутому «марксизму-ленинизму». Когда благосостояние общества зависит от наукоемких производств, такая идеологическая политика является весьма близорукой. Науке вновь отводится роль «служанки богословия», что неизбежно оказывается на качестве научных исследований и на их авторитете. Особенно тяжелы последствия этого для социальных наук. Мы до сих пор не имеем базовой научной теории современного российского общества, без которой любые реформы и управленческие мероприятия являются либо

безответственным экспериментированием на основе мифов, либо проявлением сиюминутной прагматики без какого-либо системного подхода. Вплоть до эпохи реформ советская бюрократия объективно не нуждалась в научном познании общества и могла позволить себе роскошь идеологических репрессий. А вот в современных условиях наука становится объективно необходимой для выстраивания внутренней политики, так же, как развитие физики и других естественных наук — для развития производства.

Что же касается православной церкви, то и для нее такой поворот событий чреват отрицательными последствиями. Она рискует потерять доверие гражданских слоев, становясь выразительницей интереса государственной бюрократии и превращаясь в то, чем она была, начиная с эпохи Петра I, — в винтик бюрократической машины. Символом этой эволюции стала канонизация Николая II, чье имя олицетворяет имперскую политику России начала XX в., увенчавшуюся расстрелами безоружного народа и кровопролитными войнами.

Однако обманываться на счет истинной сути всего этого могут себе позволить лишь те, кто хорошо защищен от социальной реальности толщей нижестоящих ступеней бюрократической иерархии и толщей иллюзий о себе самом и окружающем мире. На самом деле мы здесь видим лишь исправленное и дополненное переиздание *идейного двоемыслия* советской эпохи, столь ярко разоблаченного Э. Рязановым в фильме «Гараж». Общество стремится соответствовать современным стандартам потребления, выходящим далеко за рамки традиционной христианской морали. Религиозное отрицание этих стандартов способно только восстановить прежнее состояние общества, отвергнутое им именно ради высокого уровня потребления.

Вспомним, что советская официальная идеология так же критиковала «потребительство», привлекательное для обывателей, и делало это вполне в духе христианских ценностей. Вспомним статьи К. Мяло 80-х гг. в «Комсомольской Правде» под общим заголовком «Во что рядится чванство?». Вспомним «святых» советской идеологии, таких, к примеру, как Павка Корчагин, воплощавших своим ригоризмом, аскетизмом и фанатизмом

христианский этический идеал. Во всем этом выражалось мифологическое бессознательное «атеистов по должности» — чиновников советского гос- и партаппарата. Теперь, оставшись у власти и подвергнувшись психоанализу политических перестроек, они пришли, наконец, к необходимости прямого выражения своих интересов, с не меньшим, правда, цинизмом и лицемерием. Но при этом они наступают на те же самые советские грабли. Ведь обывателя при «совке» раздражала не столько необходимость изучать наследие «бородатых классиков», сколько стремление власти мелочно контролировать его бытовое поведение — одежду, прическу, эстетические предпочтения, словом именно то, к чему ныне близоруко стремятся церковный клир и «одухотворенные» чиновники.

Один из образцов неудачных попыток приспособить православный традиционализм к восприятию современного общества — выступления представителя модернизированного православия А. Кураева. В его статьях и речах всякий протестный потенциал православной религии, унаследованный ею от советских времен, полностью выветривается, либо становится декларативным, уступая пафосу приспособления к наличным социальным формам. Даже названия его статей («Не может быть православной России без православной элиты» или «Православным пора почувствовать вкус к карьере») говорят сами за себя. Светская карьера для Кураева уже не есть дело мирское, профанное. Но, исходя из христианского же дуализма, отсюда следует, что она, исключенная из профанного, становится сакральной. Конечно, для православия сервилизм традиционен, но в этом случае на каком основании собирается Кураев противостоять усиливающейся в РПЦ просталинской тенденции? И на каком таком основании православие собирается поддерживать современную демократию и противостоять тоталитаризму и авторитаризму, если оно поддерживает современные тоталитарные и авторитарные настроения внутри себя?

Грань между собственно религиозным и идеологическим содержанием (именно содержанием, а не риторикой), у Кураева исчезает совсем. Он

выступает как апологет определенного социального устройства, призывает приспосабливаться к нему, стремиться к жизненному успеху в нем.¹¹ Слова Христа, что «царство божие — не от мира сего», иначе говоря, *надмирное* содержание христианства, когда-то обосновывавшее его противостояние «царству кесаря», он просто игнорирует. Отныне это — «фундаментализм», «религиозный экстремизм», неприемлемый церковью, полностью переключившейся на решение своих «земных» задач.

Недавно РПЦ наградила своими орденами Фиделя и Рауля Кастро. Как это понимать? Если Кураев называет атеизм «сатанизмом», то выходит, что РПЦ награждает сатанистов? Почему тогда Кураев проигнорировал эту вопиющую непоследовательность своей церкви? Почему в одном случае мы слышим проклятия по поводу безбожного режима — советского, а по отношению к другому, не менее безбожному режиму РПЦ демонстрирует лояльность? Или режим Кастро перестал быть безбожным и стал православным? Чего здесь больше — соблюдения религиозных принципов или идеологии приспособления к изменяющемуся миру?

Сформировать в массовом масштабе националистически и религиозно ориентированного фанатика и одновременно потребителя (что пытается сотворить нынешний пропагандистский аппарат, например, в лице того же Кураева) невозможно в силу внутренней противоречивости этого «идеального типа». Поэтому и поиски пресловутой «национальной идеи» изначально обречены на провал. На многочисленные вызовы идеологических «лохотронов» граждане отвечают либо равнодушием, либо ростом индивидуализма и самосознания. Создание привлекательного и мобилизующего идеологического брэнда, подобного коммунистическому, остается для наших верхов нерешенной задачей. «Религиозное Возрождение» предстает в виде одной из идеологических кампаний государства, которых, — ох, как много! — на своем веку повидала наша страна. И вряд ли мы увидим что-нибудь, выходящее за рамки формальной религиозности законопослушных обывателей,

11 А. Кураев. Православным пора почувствовать вкус к карьере. // Москва. № 11. С. 230.

даже не задумывающихся над тем, насколько нелепо смотреть на видео веселую порнушку и одновременно держать Великий пост.

Успех традиционализма и в других странах — временный и относительный. Ориентированный на инфантильное и неразвитое сознание, пытающийся его законсервировать и цинично эксплуатировать, он внутренне слаб и поэтому обречен. Вытеснить потребительский индивидуализм, который массово порождается всем развитием современной цивилизации, он в принципе не может. Как свидетельствует нынешний финансовый кризис, участившиеся выступления леворадикальной молодежи в западной Европе, а также контрнаступление Запада на страны победившего фундаментализма, правая «контрреформация» уже на излете.

Религиозный фундаментализм и традиционализм делают человека послушным орудием в руках толкователя священного текста и потому являются лишь вариантом порабощения. Их перспектива на ближайшее будущее ясна, — мировые элиты сделают их централизованные структуры приводным ремнем своей глобальной мировой политики спектаклей, средством воздействия на общественное сознание, а их сторонников — пушечным мясом «управляемых конфликтов» и политтехнологических «разводок», используемых как способ организации общества под их властью. Рано или поздно, с большими или меньшими жертвами, они, несущие в себе человеконенавистнический потенциал, будут изжиты, — равно как и буржуазные идеологии.

Но что придет им на смену?

2004-2008